

В.И. Мильдон

*Идея «третьего Рима» в художественной мысли Гоголя
(о повести «Рим»)*

В моей давней книге «Эстетика Гоголя» я высказал мысль: в повести «Рим» автор, не отдавая себе ясного отчета, подразумевает Россию. Итальянский исследователь гоголевского творчества, Р. Джулиани, упрекнула меня в том, что я допустил натяжку, утверждая, будто «пророчество Гоголя об Италии относится к России».

Упрек заставил поискать новых доводов.

У Гоголя два Рима. Один — реальный, в котором он жил, и который мало сказать любил — обожал. «Вы не поверите, как грустно оставить на один месяц Рим и мои ясные, мои чистые небеса, мою красавицу, мою ненаглядную землю» (XI, 229. М. Балабиной, май, 1839).

Другой Рим в незаконченной повести, ее он писал в Италии. С этим «Римом» он вернулся в Россию и напечатал в 1842 г. с подзаголовком «отрывок».

Белинский воспринял журнальный текст в качестве «*начала* новой повести» и выразил недоумение косыми взглядами автора на Париж и близорукими на Рим.

Свидетельства незавершенности «Рима» важны для моих аргументов о внутреннем содержании повести.

Гоголь возразил Белинскому в письме к С.П. Шевыреву (1 сентября 1843 г.): «Я бы был виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж. <...> Вообще не могу быть одного мнения с моим героем. Я принадлежу к живущей и современной нации, а он к отжившей» (XII, 211).

Писатель прав. Однако сравним.

По дороге из Италии во Францию князь проезжает Альпы: «Дикое безобразие швейцарских гор, громоздящихся *без перспективы*, без легких далей, *несколько ужаснуло* его взор, приученный к высокосокойной нежащей красоте итальянской природы» (III, 221).

Из письма Гоголя Н.Я. Прокоповичу (сентябрь, 1836): «Что тебе сказать о Швейцарии? Все виды да виды, так что мне уже от них наконец становится *тошно*, и если бы мне попало теперь наше подлое и *плоское* русское *местоположение* с бревенчатою избою и сереньким небом, то я бы в состоянии им восхищаться, как новым вид<ом>» (XI, 61).

И герой, и автор испытывают похожие настроения от одних и тех же пейзажей.

Из письма М.П. Балабиной (ноябрь, 1838): «Но я сомневаюсь, та ли эта

теперь Германия, какую ее мы представляли себе. <...> Я по крайней мере в ней ничего не видел, кроме скучных табльдотов и вечных, на одно и то же лицо состряпанных кельнеров и бесконечных толков о том, из каких блюд был обед» (XI, 180).

Наблюдения князя над Германией: «В немецких городах несколько поразил его странный склад тела немцев, лишенный стройного согласия красоты, чувство которой зарождено уже в груди италиянца; немецкий язык также поразил неприятно его музыкальное ухо» (III, 222).

Не одно и то же, разумеется, однако и здесь общий тон суждений персонажа и автора о стране совпадает каким-то неудовольствием.

Писатель делает все, чтобы отстраниться, как и подобает в художественном творчестве, от своего персонажа, и все-таки близких настроений не спрятать.

«Только в одну еще итальянскую оперу заходил он, там только как будто отдыхала душа его» (III, 229).

«Только в одну жизнь театральную я иногда вступаю: итальянская опера здесь чудная!» (XI, 81. Н.Я. Прокоповичу, Париж, январь, 1837).

Этому, как и вышеприведенным совпадениям, легко возразить: обычное дело, художник всего лишь преобразует собственные впечатления. Читаю дальше.

«...Герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения – *история моей собственной души*. «Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной» (VIII, 292, 293).

Выходит, гоголевская поэма — книга не только о России, но и о Гоголе, согласно его признаниям. «Рим», создававшийся в Италии *одновременно* с «Мертвыми душами» (можно предположить, и в сходных размышлениях), написан не только об Италии, а и о Гоголе.

Конечно, признаниями автора надлежит пользоваться с осторожностью, но неосмотрительно ими пренебрегать. Говоря «история моей души», разве не имел в виду Гоголь и своих задушевных *мыслей*? О чем?

Из письма А.С. Данилевскому (Рим, август, 1841 г.):

«Ничего не пишу тебе о римских происшествиях, о которых ты меня спрашиваешь. Я уже ничего не вижу перед собою <...> Все, что мне нужно было, я забрал *и заключил к себе в глубину души моей*. Там Рим как святыня, как свидетель чудных явлений, совершившихся надо мною» (XI, 343).

Также *в себе, свое* Гоголь прочитал и в «Одиссее», отозвавшись на перевод Жуковского:

«В Одиссее услышит сильный упрек себе *наш* девятнадцатый век, и упрекам не будет конца, по мере того, как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться» (VIII, 243-244).

Как в поэме Гомера он видит «наш девятнадцатый век», так и в «Риме» думает о «нашей России». В ряде эпизодов это носит невольный характер,

однако источник подобных бессознательных действий и слов следует искать в настроениях («в душе», повторяя сказанное), не доводимых до понятия, но влияющих на наши суждения.

В «Риме», снова повторю, угадывается мысль автора о России. Но зачем ее прятать, когда он мог высказаться открыто, как и делал, кстати, в письмах, «Выбранных местах»? Что ж, у кого что болит.... Об этом «больном» говорится и прямо, осознанно, и, главное, невольно, в художественном тексте.

Россией Гоголь «болел», с некоторых пор своей жизни только о ней и думал: «Русь, куда же несешься ты, дай ответ? Не дает ответа».

Имеются поводы читать и этот вопрос, и ответы на него в повести «Рим».

Первые восторги героя Парижем постепенно слабеют. «Во многом он разочаровался. Тот же Париж, вечно влекущий к себе иностранцев, вечная страсть парижан, уже показался ему много, много не тем, чем был прежде. Он видел, как вся эта многосторонность и деятельность его жизни исчезала без выводов и плодоносных душевных осадков. В движении вечного его кипенья и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность. Страшное царство слов вместо дел. Он видел, как всякой француз, казалось, только работал в одной разгоряченной голове; как это *журнальное чтение* огромных листов поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; как всякий француз воспитывался этим странным вихрем книжной, типографски движущейся политики <...> и *слово политика опротивело*, наконец, сильно италиянцу» (Ш, 227).

Прожив в Париже два с половиной месяца, Гоголь пишет Н.Я. Прокоповичу в конце января 1837 г.:

«К удобствам здешним приглядишься, тем более, что их более, нежели сколько нужно; люди легки, а природы, в которой всегда находишь ресурс и утешение, когда все приестся,— нет... <...> *Жизнь политическая*, жизнь вовсе противоположная смиренной художической, *не может понравиться*. <...> Здесь все политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами» (XI, 81).

Некоторая близость цитированных отрывков свидетельствует, что Белинский не был совсем не прав, находя в повести мнения автора, а не только персонажа.

В прибавление к этим совпадениям приведу и другие, свидетельствующие: Гоголь попросту передал князю собственные суждения о гибнущей, по его мнению, западноевропейской культуре. В набросках так и не отправленного ответа Белинскому он писал:

«Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное и безграничное слово. <...> Тут и фаланстерьен, и красный, и всякий, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие раздражающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация? И стала европейская

цивилизация призрак <...>, и ежели <пытались ее> хватать руками, она рассы<пается>. И прогресс, он тоже был, пока о нем не дум<али, когда же> стали ловить его, он и рассыпал<ся> (XIII, 439).

В «Риме» и, замечу попутно, в проекте трехтомного романа «Мертвые души» Гоголь искал ответа не только на вопрос: «Куда же несется Русь?», но и «Куда же несется Европа?» Оба вопроса в его уме были частями одной проблемы: Европа пропадает, ее должна спасти Россия. В этом ее божественное предназначение. Гоголь почти так и говорит:

«Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием [мыслью о своем грядущем первенстве в мире — В.М.] и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? — Затем, что *сильнее других слышит Божью руку* на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближенье иного царствия» (VIII, 251).

«В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасенью» (VIII, 344).

«Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках» (VIII, 345).

В небольшой заметке 1918 г. «Гоголь и Петрарка» В. Розанов писал:

«...Если принять во внимание, как он любил Рим, *влюбился* в него сразу..., то отчего не понять, что был он вовсе не русским обличителем, а европейским...».

Розанов прав, он лишь не развернул мысли, для моих же целей важно развернуть.

Охладев к Франции, князь возвращается на родину, и ему открывается другой Рим, прежде не ведомый: «Все это было похоже на скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной землей. <...> Теперь ему казалась еще более согласно с этими внутренними сокровищами Рима его неприглядная, запачканная наружность, так бранимая иностранцами» (III, 236-237).

Не теми же словами, но в том же значении говорит Гоголь в одном из писем о содержании новых томов «Мертвых душ»:

«Прежде мне было возможно скорее писать, обдумывать и выдавать в свет, когда дело касалось только того, что достойно осмеянья в русском человеке, только того, что в нем пошло, ничтожно и составляет временную болезнь и наросты на теле, а не самое тело, но теперь, когда дело идет к тому, чтобы выставить наружу все здоровое и крепкое в нашей природе [«скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной землей» В.М.], и выставить его так, чтобы увидали и сознались даже не признающие этого, а те, которые пренебрегли развитие великих сил, данных русскому, устыдились бы, — с таким делом нельзя торопиться» (XIV, 279, июль, 1850).

Как будто заново увидев Рим, князь восклицает: «И неужели <...> не воскреснет никогда ее [Италии — В.М.] слава? Неужели нет средств возвратить

минувший блеск ее?» «Почуял он теперь, смутясь, великий перст, пред ним же повергается в прах немеющий человек, — великий перст, *чертящий свыше всемирные события*» (Ш, 241). «...Чуял он другим высшим чутьем, что не умерла Италия, что слышится *ее* неотразимое вечное *владычество над всем миром*» (Ш, 242).

Сказано словно о России, которая «сильнее других слышит Божию руку на всем, что ни сбывается в ней, и чувствует приближение иного царствия».

«В такие минуты он даже весьма часто задумывался над нынешним значением римского народа [слышится: «русского народа» -В.М]. Он видел в нем материал еще непочатый <...> Отмечали на страницах истории имена свои папы, да аристократические дома, но народ оставался незаметен. Его не зацеплял ход двигавшихся внутри и вне его интересов. Его не коснулось образование и не взметнуло вихрем сокрытые в нем силы. В его природе заключалось что-то младенчески благородное» (Ш, 243).

Рассмотрим это суждение.

«Его не коснулось образование»? Ну а римская литература, право, архитектура, историография? «Младенчески-благородное» применимо ли к народу с историей в две с половиной тысячи лет? Если же воспользоваться предположением, что «римское» у Гоголя невольно значило «русское», эти характеристики вполне уместны.

Да, это русский *народ* всегда оставался незаметен для отечественной мысли, потому что всем было *государство*. Это «его не коснулось образование», это «в его природе заключалось что-то младенчески-благородное», оно еще покажет себя, погодите, «Европа придет к нам не за покупкой пеньки и сала, а за покупкой мудрости». В таком контексте естественно читается мысль князя:

«Все это показывало ему стихии народа сильного, непчатого, для которого как будто бы готовилось какое-то *поприще впереди*. Европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось его и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования» (Ш, 245).

Почти теми же словами неоднократно писал Гоголь о русском народе:

«Я слышал то *великое поприще*, которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому народу возможно» (VIII, 292).

«Высокое достоинство русской породы состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя высокое слово евангельское, возводящее к совершенству человека. Семена небесного сеятеля с равной щедростью были разбросаны повсюду. Но <...> только попавшие на добрую почву принесли плод. Эта добрая почва — русская восприимчивая природа» (XIV, 109, гр. А.М. Виельгорской, март 1849).

Все это слишком совпадает с тем, что издавна говорилось о России и выражено в доктрине «Москва — третий Рим». Сошлюсь на известный документ — послание старца Филофея, игумена Трехсвятительского Псковского

Елеазарова Отроча монастыря, псковскому же дьяку Мисюрю Мунехину:

«...Все христианская царства приидоша к конец и снидошася во едино царство нашего государя по пророческим книгам, то есть российское царство. Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти <...> Все христианская царства потопишася от неверных. Токмо единого государя нашего царство благодатию Христовой стоит».

Через триста с лишним лет Гоголь, в сущности, повторит эти слова: «Я слышал то великое поприще, которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому возможно...»

Вновь обращаюсь к упомянутой заметке Розанова:

«..Мне мелькает мысль о сходстве исторической роли Гоголя с исторической ролью Петрарки».

Петрарка принадлежал к национальному умственному движению, главная идея которого — единая Италия — опиралась на представление о величии древнего Рима времен принципата Августа. Тот прекратил гражданские войны, укрепил государство, и литература эпохи (Вергилий, Гораций, Овидий) пророчествовала Риму всемирное господство как результат его божественного предназначения.

В этом мессианском пафосе черпали уверенность Данте, его ученик Петрарка. Оба мечтали о новом земном устройстве и преобразовании человеческого типа (так и Гоголь воображал будущее Чичикова, преображенного человека). С этими идеями связывают начало Ренессанса в Европе.

Если ставить идею «третьего Рима» и суждения Гоголя о России — источнике мудрости для Европы в этот европейский контекст, они получают типологический характер (сохраняя, естественно, национальную вариацию этой общеевропейской идеи): Возрождение, начавшееся в Италии XIII-XIV вв., добралось до России, как до этого из Италии попало во Францию, Германию, Англию.

Вот почему считаю возможным рассматривать мысли Гоголя (в письмах, «Выбранных местах»), план трехчастной поэмы «Мертвые души», напоминающий три части дантовской «Божественной комедии», как свидетельства начавшегося русского Ренессанса.

Если так, неудивительно не только сходство, по мнению Розанова, исторической роли Гоголя и Петрарки, но и некоторые лексические совпадения итальянского и русского авторов. Один из предшественников Данте, поэт Якопоне да Тоди, писал:

«Как железо *плавится* в огне и как воздух принимает отображение солнца <...>, так исходит мой дух в тебе, облаченный в любви; утратив собственное качество, он <...> преображен только в тебя, Христос...».

Нечто похожее должно было произойти с Чичиковым, по замыслу Гоголя, и не потому ли переживания персонажа напоминают цитированные строки

итальянского поэта:

«Вся природа его потряслась и размягчилась. *Расплавляется* и платина, твердейший из металлов <...>; подается и крепчайший муж в горниле несчастий, когда, усиливаясь, они нестерпимым огнем своим жгут отверделую природу» (VII, 115).

Идея преобразования человека, поставленная в связь со всемирно-историческим предназначением отечества, восходит к итальянскому Ренессансу конца XIII-начала XIV в., и появление этих идей у Гоголя свидетельствует, что ренессансное движение пришло и в Россию. Не только поэтому, но и поэтому тоже в повести «Рим» нахожу зашифрованную (как шифрован любой художественный текст) мысль Гоголя о России. Не зря же он признался Плетневу: «...О России я могу писать только в Риме. *Только там она предстает мне* вся, во всей своей громаде» (XII, 46).

Речь идет не столько о его взглядах (для этого хватило бы прямых высказываний), сколько о том, что можно предположить, исходя из его творчества. Удастся ли писателю, занятому конкретным произведением, выйти из границ личных суждений, или они стесняют его и потому являются причиной художественных неудач?

Я полагаю, иллюстрацией последнего случая служит повесть «Рим». Она осталась неоконченной по причинам, напоминающим те, что не позволили дописать «Мертвые души»: роман не удался, ибо не удался Чичиков-праведник — цель, выходящая из границ искусства как заранее поставленная художником.

Об этом тоже писал Гоголь, в «Портрете», в эпизоде, где художник рассказывает о причинах незаконченности его полотна:

«...Я не чувствовал <...> никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя <...> Это не было создание искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть <...> тревожные чувства, *не чувства художника*, ибо художник и в тревоге дышит покоем» (III, 136).

Гоголь сам был полон тревожных чувств, ибо не находил ответа, кроме риторического (в «Выбранных местах»), на вопрос: «Русь, куда же несешься ты?».

Как с таким сознанием браться за продолжение романа? Чичиков, заглянувший себе в душу, чтобы стать совершенным человеком, не получался — по этой, а не по какой другой, причине «Мертвые души» остались незаконченными.

То же произошло с Римом, если верна моя гипотеза, что в этой вещи Гоголь думал о России. Как и чем завершать «Рим»? Публицистически автор был убежден, что России суждено великое будущее; что Москва — подлинный «третий Рим» (о котором где же думать и писать, как не в первом Риме?), спаситель европейского человечества, погружающегося в пучину китайской мелочности. Однако все намерения достичь эту внехудожественную цель в

художественном тексте не удавались, предвзятая мысль мешала работе, вне зависимости от того, сознавал он это или нет.

Гоголь видел, что реальная Россия ничем не соответствует его публицистическим мечтаниям. Отгоняя от себя сомнения, вызванные невеселыми картинами родной жизни, он внушал себе: нет, как бы ни было плохо вокруг, внутри, в душах, спрятаны несметные сокровища, стоит лишь разбудить их подходящим словом.

Однако не получалось — Россия не давала нужного материала, не выписывалась как спасительница европейского человечества, как «третий Рим». Гоголь это, повторяю, видел — и до «Рима» и после, когда дважды сжигал второй том. Неслучайными кажутся слова одного из персонажей второго тома:

«Мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живет, собирает и копит деньги, не верю я и тому. На старости и его чорт попутает; спустит потом все вдруг. <...> Нет, чего-то другого недостает, а чего, и сам не знаю» (VII, 84) .

Незаконченность «Рима», вызванная, полагаю, слишком явным несоответствием того, какую хотел видеть Россию Гоголь-публицист и какую видел ее в качестве художника, — эта незаконченность лишь предсказывала будущую неудачу продолжения «Мертвых душ», которая, по моему мнению, пророчествовала и трагический конец начавшегося в России Ренессанса.